

ТОМ ОБИД НА ПУТИ К ОБЩЕЙ СКАЗКЕ

В уяснении

Я уже очень давно не верю во всё исцеляющую силу правды – если бы даже она каким-то чудом оказалась кому-то известной и выразимой во всей своей точности и полноте. Я думаю, даже самая нежная дружба и тем более – любовь в огромной степени основываются на всевозможных уклонениях от правды – на умении забывать, не замечать, умалчивать, перетолковывать, приукрашивать... В результате чего мы любим уже не реального человека, а собственный фантом, или, если угодно, конструкт, для постороннего глаза иной раз до оторопи не схожий с оригиналом, той песчинкой, на которую наше воображение наращивает собственную жемчужину, белую или черную.

А уж сколько-нибудь массовое единство тем более может стоять лишь на лжи, ибо только ложь бывает простой и общедоступной, истина же всегда сложна, аристократична, неисчерпаема, противоречива (там, где действительно ищут истину, – в науке, – там никогда не затихает борьба мнений и научных школ), а главное – истина во множестве своих аспектов отнюдь не воодушевляет... Это отчасти и неплохо, поскольку пессимисты всего только отравляют людям настроение, тогда как оптимисты свержают их в катастрофы, но – всякое корпоративное согласие может стоять лишь на системе коллективных фантомов, а потому так называемая народная память неуклонно отвергает всё унижительное, храня исключительно возвышающие если уж и не совсем обманы, то, по крайней мере, очень тщательно отфильтрованные элементы правды. Подозреваю, что ни один народ не в состоянии принять всей правды о себе, не рассыпавшись на множество скептических индивидов.

Когда-то я вложил в уста герою своей «Исповеди еврея» грубоватые, но, по моему, довольно верные слова: «Нацию создает общий запас воодушевляющего вранья». Поэтому мечтать о том, что народы, однажды от всего сердца высказав «всю правду» друг о друге, после этого обнимутся и простят друг друга, утопично с самого начала: принять правду о себе для любого народа означало бы перестать быть народом – это относится и к русским, и к евреям, и к французам, и к зулусам. Да и физическим лицам каяться вслух не всегда уместно: некоторые талмудические мудрецы допускали существование даже таких вин, в которых и признаваться не следует, ибо простить их всё равно нельзя, а растравить обиды очень даже можно; мир же, считали они, более высокая ценность, чем правда (вернее, ее обнародование). Нет, каяться в совершенной гадости следует непременно, но вовсе не обязательно обнажать все подробности перед теми, кому ты причинил зло.

Александр Исаевич Солженицын в этом отношении отнюдь не талмудист, он считает, что к покаянию можно и подтолкнуть, всенародно и во всех подробностях напомнив обидчику (а также всем желающим), каких бед он натворил.

Я еще по поводу первого тома солженицынского бестселлера «Двести лет вместе» выразился в том смысле, что русские и еврейские патриоты, каждый сквозь свои фантомы, видят этот мир настолько по-разному, что все попытки объяснить поведут лишь к новым обидам. А потому лучшее, что они могут сделать, – на время забыть друг о друге («Каленый клин», «Дружба народов», № 1, 2002). Однако было бы смешно надеяться, чтобы подобный конформистский лепет коснулся слуха истинного борца за правду: «Никогда я не признавал ни за кем права на сокрытие того, что было. Не могу звать и к такому согласию, которое основывалось бы на несправедном освещении прошлого». Ну, а если иного согласия не бывает – тем хуже для согласия.

Тем не менее, в первом томе «Двухсот лет» содержалось и несколько положений, которые в принципе способны заметно ослабить накал национальной обиды, по крайней мере, с еврейской стороны. Солженицын последовательно проводит ту мысль, что русское правительство причиняло евреям разные неприятности не потому, что бескорыстно их ненавидело, а потому, что так понимало государственные интересы. Это было и требование стандартизации («все пашут, и вы пашите», «все сидят на своем месте, и вы сидите»), и страх перед либерализацией, коммерциализацией, и опасение, что активное еврейское население обретет чрезмерные конкурентные преимущества при «неразбуженности» коренного населения», – всё это было пускай архаично, недальновидно, даже нелепо (что признает и сам Солженицын), но утопизм, глупость, нераспорядительность, даже корысть простить гораздо легче, чем беспричинную ненависть. Восприятие русско-еврейского конфликта в качестве чистого конфликта интересов позволило бы существенно снизить его напряжение, ибо действия конкурента вызывают всего лишь раздражение, досаду, злость, а святую ненависть вызывают только фантомы, рисующие соперника бескорыстным служителем Зла.

Убедительно говорит Солженицын и о полном отсутствии доказательств того, что погромы (происходившие, подчеркивает он, не собственно в России, а в основном на Украине и в Молдавии) организовывало царское правительство, – оно было только неумелым стеснителем, а не изощренным преследователем евреев, каким его сделала антиправительственная пропаганда, – здесь тоже есть некий шаг к консенсусу, тем более что в целом Солженицын правительство вовсе не оправдывает: или уж не держать империю, или отвечать за порядок в ней.

Правда, другой основной тезис первого тома гораздо более сомнителен – свои воззрения на русскую историю и на «выходы из нее» русские упустили в руки евреев: «Понятия о наших целях, о наших интересах, импульсы к нашим решениям мы слили с их понятиями». Я уже писал, что эти самые понятия были вовсе не специфически еврейскими, но общелиберальными, и возникли они еще тогда, когда евреи носу не казали из своих местечек; однако перенесение внимания на *духовную* роль евреев кажется мне всё-таки несколько более безопасным в сравнении со стандартной антисемитской пропагандой, согласно которой евреи сокрушали устои гораздо более прямолинейным манером. Солженицын настаивает на том, что понять духовное доминирование евреев (или, что то же самое, духовную податливость русских) важнее, чем подсчитывать, какой процент евреев раскачивал Россию («раскачивали ее – мы все»), делал революцию или участвовал в большевистской власти.

Тем не менее, когда листаешь второй том «Двухсот лет», начинает складываться впечатление, что именно это автор и делает – подсчитывает, какой процент...

Но, может быть, я просто предубежден? Общественное мнение всегда живет фантомами, а не истинами, как эти истины ни понимать; невозможно, сообщив

миру какие-то факты, сместить его от фантома к правде, – можно создать разве что новый фантом. И фантом русско-еврейских отношений, созданный Солженицыным, как мне кажется, не улучшил их, а ухудшил. Я не имел возможности исследовать сколько-нибудь репрезентативную выборку, но практически все примеры, которые подбрасывала мне жизнь, отнюдь не свидетельствовали о том, что евреи и русские стали с большим сочувствием относиться к бедам друг друга и более критично к деяниям своих предков, да и к своим собственным.

Типичное мнение многих русских (далеко не «крайних»): Солженицын показал, что евреям жилось совсем не так плохо, как они изображают; по крайней мере, не им одним было плохо. Мнение более жестокое: Солженицын показал, что все меры против евреев были исключительно оборонительные.

Типичное мнение евреев (из самых мягких): Солженицын старался быть объективным, но натура свое взяла. Мнение более жестокое: он постарался выгородить своих, свалив причины всех еврейских бед на голову самих евреев, для чего он постарался отобрать о них всё самое скверное.

Беру первый попавшийся отклик на сайте «Центральный еврейский ресурс» – Ю.Окунев (Коннектикут), «Приведет ли книга Александра Солженицына к ослаблению антисемитизма?» Автор прежде всего напоминает, что никто не слышал никаких протестов Солженицына, «когда фашистская литература захлестнула улицы российских городов, никто не услышал его голос, когда генерал Макашов оправдывал юдофобство ссылками на классиков русской литературы». А затем восстает против самой идеи «выискивать виновных по национальному признаку»: «Мне отвратительны обвинения любого народа в коллективной вине, признание за каким-то народом, будь то русские или евреи, какого-то общего греха. Мне и в голову не придет такая глупость или подлость, как винить моих русских друзей во всех перечисленных выше преступлениях российских властителей и российской черни перед еврейским народом. Вот ведь в чем опасность солженицынской доктрины – она провоцирует выискивание черт врага в целом народе».

И вот итог: «Это – мощная попытка выдающегося русского писателя, претендующего на национальное духовное лидерство, придать антисемитизму новый импульс, возродить его утраченную после развала советской империи объединяющую функцию». Вот так. Ни больше и ни меньше.

«Полемика с ним в деталях абсолютно бессмысленна. Бессмысленна потому, что ложна и чрезвычайно опасна заложенная в книге Солженицына главная идея – призыв к признанию русскими и евреями своей доли греха, каковому, надо полагать, должно предшествовать мелочное выискивание недостатков сторон и взаимных обид. Ни к чему иному, как к углублению раскола и усилению антисемитизма, такой подход никогда не приводил и не приведет».

Вот еще наудачу отклик с того же сайта – уже на второй том: Г.Еремеев, «А.Солженицын о евреях: сомнительные рекомендации на зыбких основаниях» (материал подготовлен Московским бюро по правам человека). Солженицын обвиняется и в некритическом цитировании источников, и в поверхностном использовании статистики, и в недостаточном дифференцировании про- и антиреволюционных партий: «есть рухнувшая славная царская Россия, и есть все остальные враги, независимо от их политического облика. Что там разбираться – большевики, кадеты...» Солженицын, по мнению Г.Еремеева, не делает никаких серьезных выводов из того, им же отмеченного факта, что евреи-большевики угнетали не только русских, но и других евреев. Однако главный объект критики – снова идея коллективной вины и коллективного покаяния: «Для Солженицына цифры – это только материал для нравственного учительства. Он призывает евреев принести

общенародное покаяние за содеянное зло, «морально отвечать за свое прошлое». Уже неоднократно писалось о том, что популярная ныне идея массового покаяния сомнительна и с теоретической, и с практической точек зрения. Народ – это всегда не есть что-то монолитное, но являет собой многообразие человеческих личностей. Какое-то единое, унифицированное покаяние здесь невозможно, поскольку индивидуальные личностные особенности обуславливают индивидуальные эмоциональные и интеллектуальные реакции, тем более, когда речь идет не о собственном грехе, а о грехе дедов и прадедов. Когда канцлер ФРГ становится на колени перед еврейским мемориалом и просит прощения, этот жест призван быть символическим отражением воли немецкого народа. – Призван, но соответствует ли он реальности? Несомненно, многие немцы испытывают ужас от содеянного их дедами, но многие входят и в «Национальный фронт» (объединяющий, по некоторым данным, полтора миллиона человек) и, обрив голову, шествуют колоннами по улицам Берлина. А в «покаявшейся» Европе опять жгут синагоги и оскверняют кладбища. Какова тогда «общенародная» практическая ценность поступка канцлера? И как должны поступать евреи в связи с грехами их дедов и прадедов? Выступить Шарону и покаяться от имени евреев всего мира? Или главному российскому раввину от лица российских евреев? Но ведь большинство молодых евреев имеет смутное представление о деятельности евреев – большевиков и чекистов. А если и имели бы – что, им всем выйти на площадь и, взявшись за руки, хором прочитать покаянный псалом? Вообще, религиозное понятие «покаяния» применяется к месту и не к месту, лишаясь своего истинного смысла. Речь может идти только о знании истории, индивидуальном внутреннем переживании этого знания, формировании соответствующего нравственного чувства и желания самому подобных поступков не совершать. А каким образом практически можно уловить преобладающие настроения в этом смысле? На основе индивидуальных выступлений. И вот тут совершенно непонятно, что, собственно, не нравится Солженицыну. Ведь в перечислении имен евреев-убийц он ссылается главным образом на еврейские же источники, которые аккуратно эти имена фиксируют, и без всякого восторга!

Приводя мнения евреев-противников большевизма, он обильно цитирует десятки книг, называя десятки имен современных авторов-евреев, которые не позволяют и себе, и всем нам забыть о том, что творилось в России. А кто, собственно, из нынешних евреев восторгается «подвигами» дедов-большевиков?»

Отыскать таких и в самом деле нелегко – по крайней мере, под знаменами Зюганова еврейские физиономии в глаза не бросаются. Может быть, это и следует считать материальным выражением некоего раскаяния? Или как?

В уяснении уяснений

Принимаясь за второй том солженицынских «Двухсот лет вместе», невольно оказываешься уже до такой степени переполненным опасениями и предвзятостями, что почти не разбираешь самого текста, а всё больше то угадываешь авторские намерения, то прикидываешь возможные последствия. Но что, если просто-напросто попробовать как можно более тщательно и бесхитростно вдумываться в буквальный смысл прочитываемых слов, стараясь понять его как можно более точно? Пытаясь со всей добросовестностью соответствовать названию вступительной главы – «В уяснении» – и стараясь

выделить важнейшие места, чтобы общий ход мысли был понятен и тем, кто по какому-то причинам не успел прочесть разбираемую книгу.

Первый вопрос – кого считать евреем? Солженицын начинает с определения ортодоксальных равинов – еврей тот, кто рожден матерью-еврейкой или обращен в еврейство посредством определенной канонической процедуры (именуемой «гиюр», если кто еще не знает) – и тут же предостерегает от понимания этнической общности как *общности по крови*. Он упрекает даже Российскую Еврейскую Энциклопедию в «кровном» отборе персонажей: «Евреями считаются люди, родители которых или один из родителей которых был еврейского происхождения, независимо от его вероисповедания». Вот и в международной спортивной «маккабиаде» участвовать могут только евреи, – «надо понимать, что и тут – по крови»? «Тогда зачем же так страстно и грозно укорять всех вокруг в «счете по крови»? Надо же отнестись зряче и к национализму собственному».

Последнее бесспорно. Однако что до составителей Еврейской Энциклопедии, то они же просто вынуждены руководствоваться какими-то отчетливыми наблюдаемыми признаками – невозможно ведь включать в энциклопедию только тех, кто связан с еврейством по туманному «духу». И насчет маккабиады – если, скажем, устраивают вечеринку или футбольный матч члены какого-то землячества или выпускники какого-нибудь университета, – неужели это так оскорбительно для тех, кто закончил другой университет? Хотя нация, конечно, не то же самое, что корпорация, но ведь и нацивильзованнейшие национальные государства устраивают внутринациональные чемпионаты, на которые иностранцы не допускаются. Что ж, изолироваться можно лишь посредством государственных границ? А если границы разительно отличаются от ареала расселения, значит нельзя и наперегонки побегать среди соплеменников? Впрочем, аналогия снова не совсем точна: на внутринациональные чемпионаты попадают не по крови, а по подданству. Вместе с тем, чужаку обрести подданство цивилизованного государства ничуть не легче, чем принять гиюр и обратиться в стопроцентного еврея. Я абсолютно согласен, что ко всем разновидностям национализма надо относиться «зряче», а потому дифференцированно. Не следует ли из этого, что нужно различать национализм, так сказать, оборонительный, стремящийся удержать народ от растворения, и национализм, так сказать, наступательный, стремящийся, сознательно или бессознательно, растворить другой народ в себе? Да к тому же, есть ли уверенность, что именно организаторы маккабиад страстно и грозно кого-то в чем-то укоряют? Вполне возможно, что они-то как раз считают определенные формы национализма столь же естественными для народа, как для индивида естественен и необходим инстинкт самосохранения. Евреи всё-таки тоже бывают разные, у них нет общей головы и единого голоса.

Солженицын здесь же цитирует и весьма авторитетные еврейские источники, совершенно не склонные к счету по крови. С одобрением – «эх, и нам бы так!» – приводит он слова известного израильского писателя Амоса Оза: «Быть евреем означает чувствовать: где бы ни преследовали и мучили еврея, – это преследуют и мучают тебя». И еще – его же: «Быть евреем означает участвовать в еврейском настоящем... в деяниях и достижениях евреев как евреев, и разделять ответственность за несправедливость, содеянную евреями как евреями (ответственность – не вину!)».

Мне-то до сих пор казалось, что ответственность и вина приблизительно одно и то же (примерно так же их толкует и словарь Ушакова), но Солженицыну различие, вероятно, представляется очевидным, он подчеркивает другое: «Вот такой подход мне кажется наиболее верным: принадлежность к народу определяется по *духу и сознанию*». То есть, насколько можно понять, по самоощущению. Однако на следующей странице он цитирует Сартра: «Еврей – это

человек, которого другие считают евреем». И в конце концов приходит к выводу: «Не сказать, чтоб ото всего выслушанного здесь стало нам четко-ясно».

Сделаться четко-ясно здесь не может в принципе, поскольку невозможно точно очертить границу размытого по своей природе множества. Иными словами, национальность человека характеризуется не одним, а многими и многими параметрами, – может быть, даже неограниченным их числом. И потому анкета о национальной принадлежности должна содержать не один вопрос, а чрезвычайно длинный (если не бесконечный) их список. «Кем ты ощущаешь себя сам?», «В каких ситуациях и до какой степени?», «Насколько эмоционально близкими ощущаешь героические и трагические эпизоды национальной истории?», «Какие именно, до какой степени и в какие минуты?», «Ощущаешь ли подобную близость к воодушевляющему вранью других народов?», «Каких именно, в каких ситуациях, до какой степени?», «Кем себя ощущали твои родители?», «Кем тебя ощущают окружающие?», «Если не все, то какая их часть, какая именно и в каких ситуациях?» – и так далее, и так далее, и так далее.

В результате среди человеческого множества претендентов на звание еврея выделится некое ядро счастливицков, которые окажутся евреями по всем пунктам, и периферия, куда попадут те, кто является евреем лишь по какой-то части признаков. При том, что даже и это их частичное еврейство будет не стабильным, а изменчивым во времени.

Могу пояснить на собственном скромном примере. Имея русскую маму и еврейского папу и воспитавшись в беспримесно русской среде, я лет до шестнадцати чувствовал себя стопроцентным русским, а еврейство свое ощущал как абсолютно нелепую метку, не имеющую решительно никакого отношения к моей сущности и только временами осложнявшую мою жизнь. И если бы в ту пору у меня была возможность ее смыть, я бы не сделал этого разве что в силу какой-то самому мне непонятной неловкости. Достижениями евреев я потихоньку начал интересоваться лишь в пику тем, кто меня время от времени унижал. Интересовался, интересовался и доинтересовался до того, что и впрямь сделался евреем: страдания евреев сегодня я ощущаю заметно более остро, чем страдания людей других национальностей.

Не считая, конечно, русских: когда их обижают, это задевает меня тоже заметно сильнее, чем этого требует общечеловеческая гуманность и справедливость.

А вот когда русские и евреи обижают друг друга, на чью сторону я тогда становлюсь, что я делаю, когда папа и мама ссорятся? Попеременно сочувствую тому, кому в данный миг больше, горю от стыда за того, кто эту боль причиняет, – а потом стараюсь их помирить по мере своих мизерных силенок. Но уже не спешу объяснять, что мама у меня всё-таки русская, – надоело, спокойнее без затей называть себя евреем. Я думаю, многие русские евреи превратились в евреев из чувства собственного достоинства.

Однако испытываю ли я ответственность за грехи еврейского народа? Исключительно в том смысле, что глупости и подлости евреев меня раздражают сильнее. Мне – да, совестно за них. Еще больше, чем за русских. Но та ли это взыскуемая Солженицыным ответственность, не знаю. По крайней мере, терпеть за чужие, хотя бы и еврейские, грехи какое-то материальное наказание я не согласен. И что касается уроков прошлого – я тоже не очень понимаю, какие практические выводы из них я должен сделать. Солженицын весьма одобряет ту трактовку еврейской избранности, которую предлагает Н.Щаранский: избранность «приемлема только в одном плане – как повышенная моральная ответст-

венность». Но требует ли эта повышенная ответственность вмешиваться в российскую политику или, наоборот, избегать ее, чтобы не повторить ошибок дедов, я совершенно не представляю. Если изыскивать психологические корни современного еврейства в иудаизме (занятие более чем сомнительное), то можно найти в Вавилонском талмуде следующее наставление: «Кто может предотвратить грехи людей своего города, но не делает этого – виновен в грехах своего города. Если он может предотвратить грехи всего мира, но не делает этого – он виновен в грехах всего мира». Очень благородно. Жаль только, что, уничтожая один грех, мы слишком часто открываем дорогу десятку других, и никакая сила в мире не способна дать ответ, какое зло окажется наименьшим, – зло вмешательства или зло невмешательства.

Вмешиваться, если это приведет к улучшению жизни, и не вмешиваться, если это приведет к ухудшению, так, что ли? Но чтобы так поступать, требуется пророческий дар. Если понимать уроки Октября буквально, то нужно всегда стоять на стороне существующей власти, всегда больше страшиться потерять, чем надеяться приобрести – но тогда в 60-е – 80-е годы прошлого века следовало поддерживать советскую власть и осуждать еврейских диссидентов, которых Солженицын, наоборот, всячески приветствует (в свою очередь осуждая тех, кто боролся за отдельное право на выезд).

Его не смущает и то, что именно «евреи снова оказались... и истинным, и искренним ядром нововозникшей оппозиционной общественности», хотя Солженицын с большим сочувствием цитирует Стефана Цвейга, считавшего опасным, «чтобы евреи выступали лидерами какого бы то ни было политического или общественного движения». «Служить – пожалуйста, но лишь во втором, пятом, десятом ряду и ни в коем случае не в первом, не на видном месте. [Еврей] обязан жертвовать своим честолюбием в интересах всего еврейского народа». «Нашей величайшей обязанностью является самоограничение не только в политической жизни, но и во всех прочих областях».

«Какие высокие, замечательные, золотые слова, – и для евреев, и для неевреев, для всех людей, – подхватывает Солженицын. – Самоограничение – от чего оно не лечит!» Но если уж самоограничиваться, то не нужно и строить планы, как нам обустроить Россию, разве нет? Ответ на это дан, пожалуй, на стр. 23, где Солженицын присоединяется к той мысли Ренана, что удел народа Израиля быть *бродилом* для всего мира: «И по многим историческим примерам, и по общему живому ощущению, надо признать: это очень верно схвачено. Еще современнее скажем: катализатор. Катализатора в химической реакции и не должно присутствовать очень много».

Не должно... А сколько должно? Но смысл, в общем, ясен: к обновленческим движениям каждый новый еврей должен присоединяться со все большей и большей осторожностью. Если, конечно, речь не идет о борьбе с большевиками.

Вроде бы так? Когда речь идет о политике. Но как быть с самоограничением «во всех прочих областях»? Где борются не за власть, не за деньги, а за самореализацию, за реализацию своих дарований? – в науке, в искусстве? Ты ощущаешь (и демонстрируешь) талант математика, музыканта, поэта, но должен идти в шоферы или шахтеры, потому что евреев-математиков, музыкантов и поэтов и без тебя выше крыши? Или в ученые – музыканты – поэты идти всё-таки можно, только не нужно там работать в полную силу, чтобы, не приведи бог, не сделаться слишком яркой звездой? Цвейгу этот вопрос задавать уже поздно, но Солженицыну я бы со всей почтительностью его задал. Мне и в самом деле непонятно, как он трактует эти высокие, замечательные, золотые слова.

Этапы большого пути

В первой же посвященной реальным фактам главе «Двухсот лет вместе» – «В Февральскую революцию» – рухнуло неравенство евреев перед законом вместе с самим законом. Однако первый обзор тогдашних газет обходится без евреев: газеты «выступили с трубным гласом, менее всего задумываясь или ища жизненные государственные пути, но наперебой спеша поносить всё прошедшее. В невиданном размахе кадетская «Речь» призывала: отныне «вся русская жизнь должна быть перестроена с корня» (Тысячелетнюю жизнь! – почему уж так сразу «с корня?»). А «Биржевые ведомости» вышли с программой действий: «Рвать, рвать без жалости все сорные травы. Не надо смущаться тем, что среди них могут быть полезные растения, – лучше чище прополоть с неизбежными жертвами». (Да это март 17-го или 37-го?)», – замечания в скобках принадлежат Солженицыну.

И это были не подметные еврейские листки, а респектабельные русские СМИ! Впрочем, что я – ведь взгляды на свою историю и на выходы из нее русские усвоили от евреев. А потому все далее упоминающиеся идейные глупости и безумства «прогрессивного» толка можно без рассмотрения списать на еврейскую долю вины. Но что оказалось не скрытым, психологическим, а явным фактом, – евреи замелькали на общественной арене не в пример гуще прежнего, и даже, как «итожит Еврейская Энциклопедия, “евреи впервые в истории России заняли высокие посты в центральной и местной администрации”».

Но вот тут-то «на самых верхах, в Исполнительном Комитете Совета рабочих и солдатских депутатов, незримо управлявшего страной в те месяцы, отличились два его лидера, Нахамкис-Стеклов и Гиммер-Суханов: в ночь с 1 на 2 марта продиктовали самодовольно слепому Временному правительству программу, заранее уничтожающую его власть на весь срок его существования».

«Этот Исполнительный Комитет – жестокое теневое правительство, лишившее либеральное Временное правительство всякой реальной власти, – но и, преступно, не взявшее власть прямо себе».

Преступно не взявшее власть... Но было ли это в его власти? Неужто взвихренная Русь и остервеневшая армия повиновались бы какому бы то ни было правительству, потребовавшему от них какой бы то ни было дисциплины? Масса жаждала мести, разгула, и всякий, кто потребовал бы от нее повиновения, превратился бы в ее врага – и был бы сметен. Совет, да и всякая другая политическая сила, могли выжить лишь в качестве оппозиции правительству. У них был единственный выбор (не раз становившийся актуальным и в наши полтора десятилетия): или быть влиятельным дезорганизатором, или исчезнуть. Когда народ охвачен разрушительной страстью, можно ли представить, чтобы не нашлось самопровозглашенной инстанции, которая бы санкционировала эту страсть? И тем создала иллюзию обладания реальной силой.

«Потом оказалось, что был в ИК десяток солдат, вполне показных и придурковатых, держимых в стороне. Из трех десятков основных, реально действующих, – больше половины оказались еврей-социалисты. Были и русские, и кавказцы, и латыши, и поляки, – русских меньше четверти».

Для умеренного социалиста В.Станкевича, размышлявшего над этим обстоятельством, остался «открытым вопрос, кто более виноват – те инородцы, которые там были, или те русские, которых там не было, хотя могли бы быть».

«Для социалиста, это, может быть, и вина, – подводит итог Солженицын. – А по-доброму: вообще бы не погружаться в этот буйный грязный поток – ни нам, ни вам, ни им».

Но поток-то уже вырвался на волю, и трудно сомневаться, что главной причиной его осатанелости была война, та война, которую начало царское правительство – никак не проеврейское. И если уж раскладывать вину по долям (что в принципе невозможно из-за системного эффекта: действующие факторы срабатывают только вместе, по отдельности каждый из них бессилён), то придется оставить открытым и другой вопрос: кто нанес России больше вреда – ее враги или ее друзья?

«В ходе 1917»: слияние в экстазе; списки жертвователей на «Заем Свободы» поражают изобилием еврейских фамилий и отсутствием крупной русской буржуазии, не считая нескольких виднейших имен московского купечества; митинги: «И в ненависти, и в любви евреи слились с народной демократией России!»; возвращение из Соединенных Штатов сотен эмигрантов, включая Троцкого; предостережение благоразумного Винавера (ближайшего сподвижника Милюкова и невольного единомышленника Цвейга – Солженицына): «Нужна не только любовь к свободе, нужно также самообладание... Не надо нам соваться на почетные и видные места... Не торопитесь осуществлять наши права»; «внезапная, бившая в глаза смена обличья тех лиц, кто начальствует или управляет»; всеобщий развал; надрывное обращение генерала Корнилова – и ответное хихиканье Суханова...

«И дело тут не в национальном происхождении Суханова и других – а именно в безнациональном, в антирусском и антиконсервативном их настроении. Ведь и от Временного правительства, при его общероссийской государственной задаче и при вполне русском составе его, можно бы ждать, что оно хоть когда-то и в чем-то выразит русское мироощущение? Вот уж – насквозь ни в чем».

«За несколько первых месяцев после Февраля раздражение против евреев вспыхнуло именно в народе – и покатило по России широко, накопляясь от месяца к месяцу».

«Уже в середине 1917 (в отличие от марта и апреля) возникла угроза от озлобленных обывателей или от пьяных солдат, – но несравненно тяжелей была угроза евреям от разрушающейся страны». А, следовательно, те евреи, что «раскачивали» Россию, либо не понимали что творят, либо не беспокоились о судьбе своих соплеменников – то есть действовали не как евреи.

«Во всё время революции самыми горячими защитниками идеи великодержавной России были наряду с великороссами – евреи». (С согласием приводимая цитата из Д.Пасманника.) Любопытно, не знал.

«И надо отчетливо сказать, что и Октябрьский переворот двигало не еврейство (хоть и под общим славным командованием Троцкого, с энергичными действиями молодого Григория Чудновского: и в аресте Временного правительства и в расправе с защитниками Зимнего дворца). Нам, в общем, правильно бросают: да как бы мог 170-миллионный народ быть затолкан в большевизм малым еврейским меньшинством? Да, верно: в 1917 году мы свою судьбу сварили сами, своей дурной головой, – начиная с февраля и включая октябрь-декабрь». Это «сами» сказано столь отчетливо и великодушно, что хочется и в ответ проявить великодушие: да нет, и мы, евреи, тоже наделали дел.

«На выборах в Учредительное собрание» более 80% еврейского населения России проголосовало «за сионистские партии». Не за большевиков. Более того, сомнительно, чтобы эти партии можно было считать такими уж «прогрессивными», модернизаторскими для России.

«Не попало в историю, что после «декрета о мире», но прежде «декрета о земле», была принята резолюция, объявляющая «делом чести местных советов

не допустить еврейских и всяких иных погромов со стороны темных сил». (Со стороны красно-светлых сил погромы не предполагались.)

«Даже и тут, на съезде рабочих и крестьянских депутатов, – в который раз еврейский вопрос опередил крестьянский». Что было крайне бестактно. За подобными вещами нужно следить очень внимательно.

«Это не новая тема: евреи в большевиках». Ох, не новая...

«Да, это были отщепенцы».

«И что ж – могут ли народы от своих отщепенцев отречься? И – есть ли в таком отречении смысл? Помнить ли народу или не помнить своих отщепенцев, – вспоминать ли то исчадьё, которое от него произошло? На этот вопрос сомнения быть не должно: *помнить*. И помнить каждому народу *как своих*, некуда деться.

Да и нет, пожалуй, более яркого примера отщепенца, чем Ленин. Тем не менее: нельзя не признать Ленина русским. Да, ему отвратительна и омерзительна была русская древность, вся русская история, тем более православие; из русской литературы он, кажется, усвоил себе только Чернышевского, Салтыкова-Щедрина да баловался либеральностью Тургенева и обличительностью Толстого. (Солженицын совершенно точно перечисляет малый джентльменский набор российского радикала – но где же там еврейские имена? – А.М.) <...> Но это мы, русские, создали ту среду, в которой Ленин вырос, вырос с ненавистью. Это *в нас* ослабла та православная вера, в которой он мог бы вырасти, а не уничтожать ее. Уж он ли не отщепенец? Тем не менее, он русский, и мы, русские, ответственны за него.

А отщепенцы евреи?»

Для иудаизма здесь нет вопроса: еврейская община никогда не должна отказываться от своих грешников. А для светского, так сказать, еврея? Помнить – да, зачем-то это нужно. Но платить чем-то реальным? Чем же, скажите! И чем должны платить русские за Ленина? Ответа нет снова. Ладно, будем читать дальше.

«10 октября 1917, заседание, принявшее решение о большевицком перевороте, – среди 12 участников Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Урицкий, Сокольников. Там же было избрано первое «Политбюро», с такой обещающей историей вперед, – и из 7 членов в нем все те же Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов, Сокольников. Никак не мало».

Уж это точно... Даже при восьмидесяти процентах просионистского электората.

«Большую службу революции сослужил также тот факт, что из-за войны значительное количество еврейской средней интеллигенции оказалось в русских городах. Они сорвали тот генеральный саботаж, с которым мы встретились сразу после Октябрьской революции и который нам был крайне опасен. <...> Овладеть государственным аппаратом и значительно его видоизменить нам удалось только благодаря этому резерву грамотных и более или менее толковых, трезвых новых чиновников». (В.И. Ленин в пересказе С. Диманштейна, главы Еврейского Комиссариата при наркомате национальностей.) Интересно, не знал.

«Даже свободолюбивый и многотерпеливый Короленко наряду с сочувствием евреям, страдающим от погромов, записывает в своем дневнике весной 1919: «Среди большевиков много евреев и евреек. И черта их – крайняя бестактность и самоуверенность, которая кидается в глаза и раздражает». Бестактность и самоуверенность – узнаю брата Васю... Кто как, а я в объективности Короленко сомневаться не могу. И этот урок – не быть бестактным и самоуверенным – я с

удовольствием вынес бы из книги Солженицына, если бы не усвоил его из всей своей предыдущей жизни. «О, как должен думать каждый человек, – восклицает Солженицын, – освещает он свою нацию лучиком добра или зашлепывает чернью зла». Что ж, если бы к прочим тормозам, удерживающим людей от низостей и безумств, прибавился и этот, наверно, было бы и в самом деле неплохо.

«А что – жертвы? Во множестве расстреливаемые и топимые целыми баржами, заложники и пленные: офицеры – были русские, дворяне – большей частью русские, священники – русские, земцы – русские, и пойманные в лесах крестьяне, не идущие в Красную армию, – русские. И та высокодуховная, анти-анти-семитская русская интеллигенция – теперь и она нашла свои подвалы и смертную судьбу. И если бы можно было сейчас восстановить, начиная с сентября 1918, именные списки расстрелянных и утопленных в первые годы советской власти и свести их в статистические таблицы, – мы были бы поражены, насколько в *этих* таблицах Революция не проявила бы своего интернационального характера – но антиславянский. (Как, впрочем, и грезил Маркс с Энгельсом.)»

Антиславянский характер революции... Утверждение очень ответственное – слишком уж легко оно трансформируется в излюбленный штамп кондовой антисемитской пропаганды – «геноцид русского народа». Где хоть какие-то доказательства, что большевики уничтожали людей по национальному признаку? Разумеется, они истребляли те слои, в которых видели опору прежнего режима, в которых усматривали возможность или признаки протеста, и поскольку в прежней элите и в ограбляемом крестьянстве преобладали славяне, то они чаще и попадали под пресловутый «карающий меч». Якобинцы тоже казнили большей частью французов – следует ли из этого, что Французская революция была антифранцузской?

Если уж предпринимать опасную затею исцелять межнациональные отношения правдой, в подобных, наиболее ответственных случаях необходимо использовать особо проверенную правду. Однако, повторяю, во всей книге нет даже попытки найти хоть какие-то доказательства того, что хоть какая-то статистически уловимая социальная группа преследовалась не потому, что большевистский режим видел в ней угрозу для себя, а потому, что в ней преобладали славяне. И если бы таковые доказательства существовали, я думаю, в увесистом томе им нашлось бы место, – значит их нет.

«Не будем гадать, в какой степени евреи-коммунисты могли сознательно мстить России, уничтожать, дробить именно всё русское», – но в книге на этот счет есть именно одни гадания. То есть, опять-таки, никаких доказательств, а подозрения – подозрения всё равно возбуждаются. Притом непонятно, насчет чего в точности. Если говорить об утопическом стремлении обновить всё сверху донизу, пальнуть в Святую Русь, – это стремление охватывало и романтических поэтов, и респектабельных господ из «Речи» и «Биржевых ведомостей» («Все перестраивать с корня», «Рвать без жалости все сорные травы, не смущаясь, что среди них могут оказаться и полезные растения»). Куда дальше этого могли бы зайти евреи?

Но, конечно, огромная часть их пошла служить Советам, чтобы просто не умереть с голоду, – равно как и множество русских, но не о них сейчас речь. Солженицын отвергает «объяснения извинительные»: «Идти на службу в ЧК – это никогда не *единственный выход*. Есть по крайней мере еще один – не идти, выстаивать». Ну в ЧК-то не могло попасть очень уж много народу, а вот чтобы умирать с голоду, но не идти в простую советскую канцелярию, – для этого нужна огромная идейность, которой требовать от обыкновенных людей, у которых нет никакого особенного «во имя» (да как раз «во имя» и могло привести

к большевикам)... Вернее, требовать-то можно, но когда, в какие времена люди этим требованиям соответствовали? Разве что в легендарные времена Спарты, Рима и Израиля... Хотя желать, чтобы люди не были людьми, а были какими-то гораздо более высокими существами, – наверно, это тоже высокое, хотя и опасное, как всё высокое, желание.

С этой точки зрения снисхождение к человеческому стремлению выживать, поступаясь принципами (которых у людей заурядных и вообще-то негусто, и, быть может, к счастью для мира: в эпохи «великих социальных экспериментов» он и выживает-то во многом благодаря тому, что основная масса людей остается беспринципной) – это снисхождение действительно «есть отречение от исторической ответственности».

«Да, много доводов – почему евреи пошли в большевики (а в Гражданской войне увидим и еще новые веские). Однако, если у русских евреев память об этом периоде останется в первую очередь *оправдательной*, – потерян, понижен будет уровень еврейского самопонимания.

...Однако приходится каждому народу морально отвечать за всё свое прошлое – и за то, которое позорно. И как отвечать? Попыткой *осмыслить* – почему такое было допущено? в чем здесь *наша* ошибка? и возможно ли это опять?

В этом-то духе еврейскому народу и следует отвечать и за своих революционных головорезов, и за готовныи шеренги, пошедшие к ним на службу. Не перед другими народами отвечать, а перед собой и перед своим сознанием, перед Богом.

...Отвечать, как отвечаем же мы за членов нашей семьи».

А как мы отвечаем за членов нашей семьи? Стыдимся – больше никак. Нам стыдно за них *перед другими*. Но выше сказано, что отвечать евреям нужно не перед другими народами, следовательно, и каяться не перед русским народом, а перед собой и перед Богом. Перед Богом-то верующие евреи от имени всего еврейского народа каются регулярно в специальных молитвах: мы творили то-то и то-то, и перечисляют все мыслимые безобразия; светским евреям труднее: они должны *осмыслить* то, что, на мой взгляд, заведомо не по силам человеческому разуму.

«Возможно ли это опять?» Это, разумеется, невозможно, история вся состоит из неповторимых событий, если брать их во всей совокупности обстоятельств. Но когда мы станем перед новым историческим выбором, всё, что лично я после всех раздумий и изучений мог бы посоветовать и себе, и другим: не обольщаться, быть осторожнее, человеку не дано предвидеть будущее, то, что считают благом «умнейшие люди своего времени», завтра обернется несомненным злом и глупостью, граничащей с безумием. Однако и эта «агностическая формула» наверняка не понравится Александру Исаевичу – за нечто подобное он строго осуждает Галича, написавшего «А бойтесь единственно только того, кто скажет: «Я знаю, как надо!»»: «Но *как надо* – и учил нас Христос...»

И, тем не менее, из учения Христа люди делали самые противоположные выводы, им оправдывали и войны, и казни, и уничтожения целых культур, и – заодно уж – массовые избиения евреев, что Солженицыну несомненно известно. Мало кто подставлял ударившему другую щеку, больше обращали внимание на загадочную формулу «Не мир, но меч...» Боюсь, Солженицын лишь тогда сочтет евреев достаточно покаявшимися, когда они все до последнего жлоба примут ту интерпретацию христианства, которая представляется правильной лично ему. Такое складывается впечатление.

В Гражданскую войну и еврейство, и белое движение проявили крайнюю близорукость: евреи близоруко тянулись к тем, кто их реже убивал, а белые

близоруко отталкивали нейтральных или сочувствующих им евреев «из-за множественного участия *других* евреев на красной стороне», – руководствуясь излишне прямолинейным представлением о коллективной вине. Народное представление о коллективной вине воплощалось еще более бесхитростным образом – в виде массовых погромов: по различным оценкам, погибло от 70 до 180200 тысяч евреев, причем примерно 40% погромов приходилось на долю петлюровцев, 25% на долю разных украинских «батек», 17% на деникинцев и 8,5% на красных (редчайший случай, когда общую вину действительно удается разложить на «доли»).

Поражает автора «Двухсот лет» и близорукость «сквозь всю Гражданскую войну» недавних союзников России. Правда, такого рода близорукость проходит настолько неизменно сквозь всю человеческую историю, что не пора ли признать ее нормальным свойством человеческой природы? А если это так, то раскаяние в ней может быть только лицемерным: человек не может искренне раскаиваться в том, что у него всего два глаза и один нос. Хотя, может, и стоило бы.

«В эмиграции между двумя мировыми войнами» среди более 2 миллионов эмигрантов, тоже с превышением процентной нормы оказалось более 200 тысяч евреев», – одного этого было бы достаточно, чтобы не отождествлять коммунизм с еврейством, если бы народы жили фактами, а не фантомами. При этом евреи, к моему приятному удивлению, оказались самыми щедрыми благотворителями и для материальных, и для культурных нужд *русских* эмигрантов. К сожалению, распри между правыми и левыми продолжалась и на чужбине, и было бы странно, если бы там обошлось без активного участия евреев. Но, к счастью, для чужеземных устоев это серьезных последствий не имело, а потому и покаяния не требует.

А вот в чем конкретном провинились те оставшиеся в России евреи, кто развил невероятно бурную и успешную деятельность в администрации, в экономике, в госбезопасности, в обороне, в здравоохранении, в науке, в технике, в культуре, – вопрос более сложный. Вернее, с чекистами ясно: добывать уже и без того еле живую прежнюю элиту, наводить ужас на население – это мерзость и грех. Однако службу в армии Солженицын считает безгрешной, хотя армия тоже служит большевистскому режиму. Да и герои-разведчики, среди которых был ни с чем не сообразный процент евреев, безусловно крепили оборонную мощь большевистской России. Служить народу, одновременно укрепляя сатанинское государство, или ослаблять государство, одновременно ослабляя и народ, – это вопрос трагический, на который нет и не может быть универсального ответа: никто не может знать, какое зло в конце концов окажется наименьшим. И если Солженицыну кажется, что он знает ответ, он заблуждается.

Работать на будущее страны, не укрепляя одновременно и правящий режим, возможно разве что в просвещении, в искусстве... Но тогдашнее искусство (дозволенное!) в основном лишь укрепляло советские устои, в этом Солженицын безусловно прав. Однако есть ведь и у искусства свое собственное, внутреннее развитие, собственные цели, и имеет ли оно право им служить, игнорируя социальные ужасы, а то и прямо их лакируя, или оно должно непременно бичевать социальное зло, а если такой возможности нет, – замереть в ожидании, покуда она появится, – это вопрос тоже трагический. Имел ли право Пушкин написать «Евгения Онегина», в котором нужно с увеличительным стеклом выискивать ужасы

крепостничества? Для меня ясно, что имел, – для Писарева это повод для презрения. Скажут, что Пушкин, в отличие, скажем, от Эйзенштейна, «не взвинчивал проклятий старой России», и это будет правда. Скажут, что Эйзенштейну далеко до Пушкина, – я и с этим соглашусь. Но многие и не согласятся с тем, что Пушкин имеет какие-то исключительные права, они потребуют их для всех художников.

А потом, не упускаем ли мы главное, – склонность человека считать нормальным то, с чем он сталкивается, входя в жизнь, что доказало свою неизменность и неотвратимость, – как смерть, например. Должен ли каяться какой-нибудь ацтек, что спокойно жил в государстве, где приносились человеческие жертвы? Да что ацтек – великий Платон считал рабство совершенно естественным делом... Да, да, друг мне Платон, но – увы. Всегда ли человек способен возвыситься даже не храбростью – умом! – против устоявшегося, привычного зла?

Впрочем, если даже и не способен – почему бы не восстать и против самой человеческой природы? Начав, естественно, с евреев: это же для них избранность означает повышенную ответственность. Но... ведь готовность восставать против привычного, устоявшегося – именно то, в чем их обвиняют. Хорошо пророкам, которые точно знают, когда надо, а когда не надо раздувать протест, – но как быть людям обыкновенным?

«В лагерях ГУЛАГа» Солженицын, по его словам, впервые понял, что есть не только единое человечество, но и нации: в «спасительном корпусе *придурков*» были отчетливо сгущены евреи, грузины, армяне, азербайджанцы и отчасти кавказские горцы. «А русские “в своих собственных русских” лагерях опять последняя нация». Впрочем, кавказцы могли и ответно упрекнуть русских: не держите нас в вашем государстве, и мы освободим для вас тепленькие места банщиков и кладовщиков. А как с евреями? Ведь переплел русских с евреями рок, может быть, и навсегда, из-за чего эта книга и пишется».

Тем не менее, о евреях, заявивших: «Не держите нас в вашем государстве», – Солженицын отзывается очень раздраженно: эти, мол, как всегда, о своем... Зато несколько известных ему евреев, добровольно пошедших на общие работы (в том числе знаменитый генетик Эфроимсон), вызывают его восхищение: это и есть «те пути самоограничения и самоотвержения, которые одни только и могут спасти человечество».

Что ж, здесь вполне понятно, как в данном случае можно самоограничиваться и чем тут можно восхищаться. Но как это следует делать на воле, в творческих профессиях, убей бог, не понимаю. Человеку с талантом отказаться от его реализации почти равносильно смерти, это писателю Солженицыну должно быть хорошо известно. Или ради сближения наций и смерти не следует бояться? И во имя столь высокой цели следует жертвовать всем – кроме, разумеется, правды? В своем «Архипелаге» Солженицын перечислил имена орденоносных руководителей БелБалтгулага – всех шестерых евреев – и вызвал, по его словам, всемирный шум: это антисемитизм! В лучшем случае – «национальный эгоизм».

«А где ж были их глаза в 1933, когда это впервые печаталось? Почему ж тогда не вознегодовали?

Повторю, как лепил и большевикам: не тогда надо стыдиться мерзостей, когда о них пишут, а – когда их делают».

Где были глаза Запада, для меня самого величайшая загадка; возможно, его духовные вожди боялись посадить пятнышко на свою любимую цапку – социализм. Но что до нашей стороны, то здесь, я думаю, было гораздо меньше стыда, чем опасения за практические последствия такой публикации, опасения, что она будет способствовать и усилению антисемитизма, и подведению под него оправдательной базы.

«Как будто художник способен забыть или пересоздать бывшее!» – восклицает Солженицын, и он совершенно прав: художник его склада не может. Перед нами снова типичный трагический конфликт двух одинаково справедливых принципов: «Говори правду!» и «Не навреди!»

Солженицын выбирает правду, как он ее видит. И я верю, что он видит ее именно такой.

«В войну с Германией» евреи, по выкладкам Солженицына, вполне пристойно соблюли процентную норму. Однако он не сдает без боя и то «расхожее представление», что «на передовой, в нижних чинах, евреи могли бы состоять гуще». «Так что ж – народные представления той войны действительно продиктованы антисемитскими предубеждениями? <...> Можно предположить, что большую роль здесь играли новые внутриармейские диспропорции, восприятие которых на фронте было тем острее, чем ближе к смертной передовой». Действительно, цитирует Солженицын израильскую энциклопедию, «евреи составляли непропорционально большую часть старших офицеров главным образом потому, что среди них был гораздо более высокий процент людей с высшим образованием». Рядовой фронтовик, – продолжает Солженицын, – оглядываясь с передовой себе за спину, видел, всем понятно, что участниками войны считались и 2-й, и 3-й эшелоны фронта: глубокие штабы, интендантства, вся медицина от медсанбатов и выше, многие тыловые технические части, и во всех них, конечно, обслуживающий персонал, и писари, и еще вся машина армейской пропаганды, включая и переездные эстрадные ансамбли, фронтовые артистические бригады, – и всякому было наглядно: да, там евреев значительно гуще, чем на передовой».

Но ведь всё перечисленное выше есть не что иное, как наложение профессиональной структуры общества на военные условия. А потому протест против более благоприятных условий евреев есть также не что иное, как всё тот же вечный протест против их места в системе разделения общественного труда. Протест, на который может быть только два ответа: или сдерживать профессиональный рост евреев искусственными средствами, или расти самим, самим становиться врачами, инженерами, интендантами, журналистами, актерами... Солженицын, оправдывая более чем понятные чувства рядовых на передовой, не замечает, что оправдывает этим и социальную зависть, которая в отношениях между людьми одной нации отнюдь не представляется ему чем-то достойным уважения. Но замечать за евреями то, что не замечается за своими, – не есть ли это как раз те самые антисемитские предубеждения?

Далее Солженицын пересказывает несколько историй как о сомнительных фронтовиках-евреях, так и об отчаянных смельчаках, завершив следующим образом: «Но на отдельных примерах – ни в ту, ни в другую сторону – ничего не строится».

Зачем тогда их и приводить в книге, претендующей высказать *значительную* и *достоверную* правду? Примеры лишь невольно оправдывают в глазах профанов ту убийственную для любой сколько-нибудь достоверной социальной истины манеру делать обобщающие выводы из всегда немногочисленных и тенденциозно, пускай и бессознательно, отобранных фактов личного опыта. Вот и сам Солженицын из единственного эпизода с каким-то безвестным Шулимом Деином, считавшим, что лучше бы евреям смотреть на драку немцев и русских со стороны, выводит целую теорию о «неполной заинтересованности» евреев в «этой стране». В обвинениях такого масштаба следует либо опираться на достоверную статистику, либо молчать.

Однако трудно не остановиться на загадочном финале Солженицына, завершающем рассказ о массовых убийствах евреев в немецком тылу. Солженицын опасается, как бы за гибелью евреев «не упустить же, и что была для русских та

война». И это справедливо: каждому погибшему была безразлична та тонкость, что от еврейского народа требовалось исчезнуть, а от русского – покориться. Но Солженицыну кажется, что «в этом накате еще одной Беды – поверх Гражданской и раскулачивания – он *почти исчерпал себя*». Что означают эти слова? Как может исчерпать себя народ? Но, если поверить в это, обида на всех его предполагаемых недоброжелателей удесятерится.

Окончательно же глава завершается цитатами из еврейских авторов, утверждающих, что даже Холокост не дает евреям права на шовинизм и что борьба за права евреев не прогрессивнее борьбы за права других народов. «До такой достойной великодушной самокритичности, – восклицает Солженицын, – подниматься бы и русским умам в суждениях о российской истории XX века». И не скрывает «гложащей тревоги, что это, может быть, непоправимо».

«Не наказание ли то от Высшей Силы?»

Чего же всё-таки хочет Солженицын?

«С конца войны – до смерти Сталина» – у евреев, наконец, исчезла возможность быть палачами. «За восемь последних сталинских лет произошли: атака на «космополитов», потеря позиций в науке, искусстве, прессе, разгром Еврейского Антифашистского Комитета с расстрелом главных членов и «дело врачей».

«До шестидневной войны», еще задолго, произошла «историческая смена вахт» на советских верхах, с еврейской на русскую».

«Антисемитизм (цитирует Солженицын В. Богуславского из журнала «22», 1985, № 40) страшен не столько тем, что он *делает евреям* (ставя им известные ограничения), сколько тем, что он *делает с евреями*, – превращая их в невротичных, придавленных, закомплексованных, ущербных».

«На самом деле, – продолжает Солженицын, – от такого болезненного состояния – вполне, и быстро, и уверенно – оздоравлились те евреи, кто с полнотою осознавал себя евреями».

«И при таком-то назревавшем самосознании советских евреев – грянула и тут же победно унеслась, это казалось чудом, Шестидневная война. Израиль – вознесся в их представлениях, они пробудились к душевному и кровному родству с ним».

«А многочисленные отказы в выезде привели к неудавшемуся 15 июня 1970 захвату самолета для угона. Последовавший «самолетный процесс» можно считать историческим рубежом в судьбе советского еврейства».

И – чрезвычайно важное замечание: «Работая над этой книгой, убеждаешься, что еврейский вопрос не только всегда и всюду в мировой истории присутствовал – но он никогда не был частно-национальным, как другие национальные вопросы, а – благодаря ли иудейской вере? – всегда вплетался в нечто самое *общее*».

Похоже, это действительно так: благодаря той самой досадной склонности евреев в раздражающем количестве становиться на сторону всего самого «прогрессивного», борьба с ними становилась неотделима от борьбы с «прогрессом», а борьба с «прогрессом» – от борьбы с ними.

«Когда ж это случилось, что евреи из надежной подпоры этому режиму перекинулись едва ли не в главное противотечение?» – за что их теперь снова готовы проклясть те, кто пострадал от перестройки.

«А тут эта нарастающая кампания против «сионизма», уже вяжущая одну петлю с «империализмом». И – тем чужей и отвратительней представился евреям этот тупой большевизм, – да *откуда* он такой вообще взялся?»

«И теперь, отпадая, обратили против него свой фронт. И вот тут бы – с очищающим раскаянием – самим сказать о прежнем деятельном участии» в торжестве советского режима и сыгранной жестокой роли.

Нет, почти нет».

«У большинства евреев-комментаторов позднесоветского периода мы прочтем совсем не то. Оглядыся на всю даль от 1917 года, они увидели одни еврейские муки при этом режиме». Среди многочисленных национальностей Советского Союза евреев всегда выделяли как самый «ненадежный элемент» (Ф.Колкер, «22», 1983, № 31).

Это – с каким же беспамятством можно такое промолвить в 1983 году? *Всегда!* – и в 20-е годы! и в 30-е! – и как *самый ненадежный?! Настолько всё забыть?»*

«Но <...> не встает разве вопрос о каком-то чувстве ответственности за *тех*? В общем виде спрося: существует ли моральная ответственность – не круговая порука, а *ответственность – помнить и признавать?»*

Если требуется только это – помнить и признавать, – я помню и признаю. И тем более понимаю, что и евреи – всего только люди. Если бы кто-то из нас поклялся не повторять ошибок дедов, это было бы претензией на сверхчеловеческое ясновидение: могут сложиться обстоятельства – и ты снова наломаешь дров не лучше тех, над кем пытался возвыситься, – хоть над своими предками, хоть над чужими. И подобную самокритичность, мне кажется, могла бы усвоить даже народная память, вообще-то отвергающая всё унижительное: ведь честность по отношению к себе можно возвести в новое достоинство, и на нем-то снова утвердить свою гордость.

Но Солженицыну-то зачем нужно, чтобы евреи покаяться? Почему его так волнует «уровень еврейского самопонимания»? И вот на эти-то вопросы, похоже, дает ответ решающая глава: «Оборот обвинений на Россию».

«Разумеется, – как и вообще у всех людей и у всех наций, – нельзя было ждать, что при этой переоценке будут звучать сожаления о прежней вовлеченности. Но я *абсолютно не ожидал* такого перекося, что вместо хотя бы шевеления раскаяния, хотя бы душевного смущения – откол евреев от большевизма сопровождается гневным поворотом в сторону русского народа: это *русские* погубили демократию в России (то есть Февральскую), это *русские* виноваты, что с 1918 года держалась эта власть!

Мы – и конечно виноваты, еще бы!»

Но не мы одни, как следует из предыдущих четырехсот пятидесяти страниц. «Нет, вы одни!» – следует из приводимых ниже выписок из разных еврейских авторов, отобранных, не знаю уж, из большого или из малого числа им подобных. (Я выбираю лишь самые характерные и однозначно толкуемые.)

«Это тоталитарная страна... Таков выбор русского народа», – расстреливаемого тысячами и тысячами, не могу удержаться и я.

«Татарская стихия изнутри овладела душой православной Руси».

«В огромных глубинах душевных лабиринтов русской души обязательно сидит погромщик... Сидит там так же раб и хулиган».

«Пусть все эти русские, украинцы... рычат в пьянке вместе со своими женами, жлѣкают водку и млеют от коммунистических блефов... без нас... Они ползали на карачках и поклонялись деревьям и камням, а мы им дали Бога Авраама, Исаака и Якова».

«Заметим, – сетует Солженицын, – что любое гадкое суждение *вообще* о «русской душе», *вообще* о «русском характере» – ни у кого из цивилизованных людей не вызывает ни малейшего протеста, ни сомнения. Вопрос «сметь или не сметь судить о нациях в целом» – и не возникает».

Если это так, я человек нецивилизованный: вся эта мерзость вызывает у меня не только сильнейший протест, но и не просто сомнение, а даже и уверенность, что отнюдь не каждый русский, и даже *далеко-далеко-далеко* не каждый русский в глубине души погромщик, раб и хулиган, это просто ложь – и даже

хуже, если бессознательная: что же за картина мира у людей!.. И на что она способна подвигнуть при удобном случае!..

Снова непонятно: кто причинил больше вреда еврейскому народу – его враги или эти мстители (к счастью, словесные), за его обиды? Пусть Солженицын примет мои слова как извинения от имени еврейского народа, который ни меня, ни кого-либо другого на это не уполномочил и уполномочить не мог за отсутствием технических средств, которые могли бы материализовать такую фикцию, как «глас народа».

Зато наконец понятно, почему Солженицын принялся за свой титанический труд над этой книгой – *от обиды*. И еще понятно, каких практических следствий он желал бы от еврейского покаяния: покаявшийся человек не склонен обвинять других. И это не только высоконравственно – побольше думать о собственных грехах и поменьше о чужих, – но и в высшей степени целесообразно: *чем больше русским будут давать понять, что они хуже прочих, тем чаще они будут отвечать: «А вы еще хуже!»*.

И заодно уж ответу тем возмущающим и Солженицына умникам, которые выводят все российские бедствия из неких вечных свойств русского народа – из его пресловутого менталитета, традиций, протянувшихся аж до монголов, и тому подобной наукообразной дребедени. Никаких вечных народных качеств не существует – наиреспектабельнейшие скандинавские народы начинали как разбойники. Кроме того, совершенно невозможно – системный эффект – разделить, до какой степени сам человек или народ бывают виновны в своих бедах, а до какой их обстоятельства. Но если бы даже это было возможно, взваливать вину человека или народа полностью на его собственную голову до крайности непедагогично. Единственный урок, который они извлекут из подобных обличений, – обличитель их ненавидит. Ну а единственной реакцией на ненависть бывает сами знаете что. И на приязнь, на сострадание – тоже понятно.

Те, кто нес вышеприведенный бред, могут сказать, что они лишь отвечали оскорблениями на оскорбления, – но разве на ложь надо отвечать непременно тоже ложью? Ведь мы-то, евреи, претендуем на рациональность.

Солженицын очень проникновенно пишет о тех евреях, которые «пронялись» чувствами более объемными, нежели исключительно свои национальные обиды: «Какую надежду это вселяет на будущее!»

И каким же он видит это будущее?

Две последние главы – две (последние?) возможности: «Начало исхода» и «Об ассимиляции». Два эти выхода на самом деле между собою связаны: антисемитизм больше ранит тех, «кто действительно настойчиво пытается отождествить себя с русскими». В итоге наиболее острые стимулы уехать получают те, кто сильнее хочет остаться. Хотя возможно и то, что рост «брежневского» антисемитизма и рост самосознания евреев лишь «совпадение во времени». Однако Солженицын с явным сарказмом отзывается о готовности американского капитала помогать советскому правительству в обмен на право эмиграции «именно и только евреев». «Никакие ужасы, творимые Советами, не могли пронять Запад – лишь когда коснулось отдельно евреев...» – таков примерно ход его мысли. Однако все ужасы 37-го пали на голову евреев уж никак не меньше, чем на других. Скорее всего, западных евреев воодушевила борьба, на которую вдруг поднялись их восточные братья. «Товаром стал дух еврейского мятежа» (В.Богуславский, «22», 1984, № 38).

Но готовность платить за дух – это же явно бескорыстный романтический порыв, однако романтик Солженицын почему-то пишет о нем без всякого энтузиазма. Зато вполне последовательно с презрением отзывается о тех, кто через пробитую брешь отправился прямиком в Америку за более «легкой» запад-

ной жизнью. «В чем духовное превосходство тех, кто решился на выезд из “страны рабов”?» – спрашивает он, и я недоумеваю: наверно, ни в чем; но откуда вообще взялся этот вопрос? Почему одни обыкновенные люди должны в чем-то превосходить других обыкновенных людей? Почему от евреев нужно ждть какой-то повышенной жертвенности? И разочаровываться, когда они ведут себя как не более чем люди?

Последняя глава, «Об ассимиляции», рисует, с одной стороны, картину мощнейших ассимиляционных процессов, с другой – содержит вереницу цитат, настаивающих на непрочности обретаемой евреями новой национальной идентичности. Итог? «Пока что ассимиляция явлена недостаточно убедительно. Все, кто предлагали пути ассимиляции *всеобщей*, – обанкротились. <...> Но отдельные яркие судьбы, но индивидуальные ассимилянты большой полноты – бывают. И мы в России – от души приветствуем их».

А как быть с ассимилянтами не столь большой полноты? Две любви, две страсти, два борения – слишком много для одной души, с этим, судя по всему, Солженицын согласен. И всё-таки рискну сказать, что присутствие в обществе людей с усложненной, противоречивой психикой может сделать его не только более эстетически богатым, но и более мобильным. Твердая, неколебимая, простая национальная идентичность вещь очень ценная, когда перед народом стоит историческая задача сохранить свою идентичность в *противостоянии* другим нациям. Но бывают эпохи, когда не менее важной исторической задачей становится задача *обновления* этой идентичности, задача отыскания себя в *сближении* с другими народами, – и тут-то традиционный патриотизм упрощенного, черно-белого типа может сделаться из достоинства опаснейшим препятствием.

Материальные интересы русских и евреев уже и в сегодняшней России практически совпадают: в неблагоприятной стране даже и самые преуспевшие евреи будут всегда оставаться под дамокловым мечом социальной зависти, удесятеренной национальной неприязнью, а в России процветающей хватит места всем: 300 непрерывно сокращающихся тысяч еврейских душ не составят серьезной конкуренции. Но поскольку и социальная вражда, и социальное единство создаются в основном не материальными интересами, а какими-то злыми или добрыми сказками («общим запасом воодушевляющего вранья»), то нам, я думаю, и русским, и евреям, вполне по силам создать убедительную сказку о нашей общей трагической, но вместе с тем и прекрасной судьбе: наша совместная история дает более чем достаточно материала и для этого. Можно, разумеется, из нее вывести и другую сказку – что мы, например, посланы во испытание друг другу. Но можно также, не солгавши ни словом, сотворить многокрасочную историю о том, что мы рождены обогащать и усиливать друг друга, – будь я президентом, я бы непременно заказал такой лазоревый двухтомник: «Двести лет вместе»-2. Да, мы громоздили и совместные безумства, и совместные мерзости, но мы творили и совместные подвиги и созидали совместную красоту: история нашей общей жизни прекрасна и величественна. Ну а то, что чувство величия невозможно без примеси ужаса – эта истина из разряда азбучных.